

Когда в 1962-м “Новый мир” напечатал “Один день Ивана Денисовича”, Чуковский записал, что встретившийся ему в Переделкине сосед назвал повесть фальшивой, спросив про героя: “Как он смел не протестовать хотя бы под одеялом?”

Знаешь, как — покажи. Хотя Катаев показал... Не только теми злыми репликами, которые бросает заключённый в рассказе из сборника “История строительства” о Беломорканале. Много позднее новомировского Солженицына, но в том же журнале, в прошедшем советскую цензуру “Вертере” ждущие расстрела одновременно жадно ждут врангелевского десанта.

“Здесь характерная aberrация, — замечает критик Юрий Арпишкин. — Чуковский говорит о том, что в повести написана правда, а Катаев о том, что не во всякую правду можно поверить. Кроме того, он был уверен, что человек свободен всегда, пусть и только под одеялом. В этом заключалась его выстраданная гармония во взаимоотношениях с реальностью”.

Чуковский размашисто добавлял: “Теперь я вижу, как невыгодна черносотенцам антисталинская кампания”. Гнев не по адресу, а термин, как минимум, неточный. Какой из Катаева в то время черносотенец? Или Корней Иванович видел юношеские стихи соседа? Или Катаев сказал ему ещё что-то, что не попало в дневник?

Впрочем, потом для многих “черносотенцем” сделался и Александр Исаевич... В связи с “разочаровывающим” Солженицыным и “Вертером” в 71-м году самиздатский автор-дисидент Марк Болховской (псевдоним будущего радикал-либерального политика Михаила Молостова) утверждал, что Катаев “потрафил настроению, которое подогревает и формирует” Александр Исаевич: “Все беды наши, де, навяны ветром с Запада. Русский народ попал под марксизм, навязанный ему евреями, латышами, китайцами, венграми с помощью немецких денег и дезорганизаторской деятельности “образованщины”.

17 декабря 62-го года на встрече с Хрущёвым Катаева среди прочих распекали за поддержку выставки авангардистов в Манеже. Зато в противовес “диверсантам буржуазии” похвалы главы государства за свой лагерный рассказ (“Как Иван Денисович раствор сохранял — это меня тронуло”) удос-

тоился присутствовавший Солженицын, которому пришлось даже встать под аплодисменты и раскланяться в разные стороны.

28 декабря 63-го года “Новый мир” и Центральный госархив литературы выдвинули Солженицына на соискание Ленинской премии. “Присудят — хорошо. Не присудят — тоже хорошо, но в другом смысле. Я и так, и так в выигрыше”, — бросил он Владимиру Лакшину. Александр Исаевич добрался до самого финала, но всё же премии не получил. В конце 61-го на эту же премию был выдвинут Катаев, и его тоже прокатили.

По свидетельству Анатолия Рыбакова, Катаев сказал ему про Солженицына: “Дали бы ему Ленинскую премию за “Ивана Денисовича” — служил бы верой и правдой, никаких бы хлопот с ним не имели”. Так полага-ли многие.

В 64-м Солженицын издал свои “Крохотки” в “самиздате”. В 65-м его книги вышли в США и Германии. В 66-м он развернул активную общественную деятельность: выступления, интервью иностранцам, начал распространять в самиздате романы “В круге первом” и “Раковый корпус”.

В мае 67-го он написал и разослал по почте двумстам пятидесяти адресатам “Письмо съезду” Союза писателей, немедленно опубликованное на Западе и, как считается, подогревшее “весенние страсти” в Чехословакии. Солженицын обличал “то нетерпимое дальше угнетение, которому наша художественная литература из десятилетия в десятилетие подвергается со стороны цензуры и с которым Союз писателей не может мириться впредь”.

Считается, что именно после “Письма”, получившего одобрение изнурённых давлением писателей, Солженицын стал восприниматься властью как серьёзный противник.

Катаев решил не отмалчиваться. Он действительно считал, что ключевой тезис Солженицына — творческая свобода — не несёт стране разрушения, а может её только укрепить, избавив от множества внутренних проблем и постоянных нападок извне. Так родилась телеграмма, написанная в Переделкине, которую Павел Катаев отвёз в Москву и отправил с Центрального телеграфа.

“Москва, Кремль

Президиуму Съезда писателей

Дорогие товарищи, не имея возможности по тяжёлым семейным обстоятельствам и состоянию здоровья присутствовать на съезде, довожу до вашего сведения, что считаю совершенно необходимым открытое обсуждение съездом известного письма Солженицына, с основными положениями которого я вполне согласен.

Делегат Съезда, член Президиума Валентин Катаев”.

Тогда же Корней Чуковский, радушно принявший в Переделкине Солженицына и прочитавший “Письмо”, назвал в дневнике эти призывы к свободе “безумными”: “Государство не всегда имеет шансы просуществовать, если его писатели станут говорить народу правду. Если бы Николаю I-му вдруг предъявили требование, чтобы он разрешил к печати “Письмо Белинского к Гоголю”, Николай I в интересах целостности государства не сделал бы этого... Возникнут сотни Щедриных, которые станут криком кричать о Кривде, которая “царюет” в стране...”.

Четвёртый съезд открылся в Москве 22 мая, письмо Солженицына не оглашалось, но в июне встретившиеся с ним руководители Союза писателей утешительно пообещали публично опровергнуть “клевету” подвергавших сомнению его участие в войне и рассмотреть вопрос о печатании “Ракового корпуса”.

Солженицын стал вынашивать второе письмо. И за поддержкой отправился к Катаеву. Вениамин Каверин свидетельствовал: “Однажды (это было на даче К. Чуковского), когда мы обсуждали, кто мог бы поддержать его новое письмо, он вдруг назвал В. Катаева (!), а когда я предупредил его, что хозяин может спустить его с лестницы, всё-таки пошёл к нему — и был, против ожидания, принят любезно”.

Да, Катаев высказал “телёнку” симпатию и одобрение на этом этапе бо-дания с “дубом”. Вдобавок в личном общении он никогда не придавал значения политической позиции собеседника.

Разумеется, Каверин как истинный “прогрессист” стал выговаривать Солженицыну за “неразборчивость”. В ответ Солженицын, записал Каверин, “отшутился”...

В дневнике летом 67-го “новомировец” Алексей Кондратович приводил слух об отдельном письме Катаева (“может быть, им и пущенный”), направленном прямоком Суслову: “Смысл письма таков, что мы старые люди и понимаем, что из всех живущих сейчас писателей Солженицын — самый крупный. А обсуждение его передают на секретариат, где ни одного серьёзного писателя или человека... Удивились, что писал Катаев”.

Существование такого письма подтвердил в своём дневнике Александр Гладков: “Н. П.* показал мне письма В. Катаева Суслову и Антокольского Демичеву в защиту Солженицыну, очень категоричные и страстные, особенно письмо Катаева”.

В новом послании, на этот раз секретарям Союза писателей, 12 сентября 67-го года Солженицын грозил “неконтролируемым появлением на Западе” его “Ракового корпуса”, который хотел, но не мог опубликовать Твардовский. На собравшемся секретариате многие выступали за то, чтобы напечатать повесть, то и дело возвращаясь к одной из её идей — “нравственному социализму”, — но в итоге Солженицыну рекомендовали отмежеваться от “кампании, поднятой недружественной зарубежной пропагандой”. Вскоре “В круге первом” и “Раковый корпус” вышли на Западе. 4 ноября 69-го года Александр Солженицын был исключён из рязанской организации Союза писателей. В западных изданиях появились заявления ведущих литераторов о “преступлении против цивилизации” и “варварстве”. 8 октября 70-го года (то есть через восемь лет после дебюта в “Новом мире”) Солженицыну была присуждена Нобелевская премия по литературе.

Одновременно закончился и “Новый мир” Твардовского. Его поэма “По праву памяти”, вымаранная цензурой из журнала, неожиданно появилась в западноевропейской прессе под заглавием “Над прахом Сталина”. Теперь власть решила избавиться от Александра Трифоновича — первым замом главреда был назначен незнакомый ему журналист Дмитрий Большой, а редакция была расформирована. 9 февраля 70-го Твардовский покинул свой пост. Он умер 18 декабря 1971 года. Катаев продолжил печататься в “Новом мире” и дальше — и при Валерии Косолапове, и при Сергее Наровчатове, и при Владимире Карпове.

Председатель КГБ Юрий Андропов в записке Политбюро предлагал “предоставить Солженицыну право убежища” и устроить встречу академика Сахарова с “одним из руководителей Советского правительства”: “Мало надежды на то, что в результате такой беседы Сахаров изменит своё поведение (он болен, сломлен своим окружением, находится в состоянии экзальтации)”. 31 августа 73-го года в “Правде” в продолжение “письма академиком” появилось писательское заявление “о Солженицыне и Сахарове”, подписанное Михаилом Шолоховым, Чингизом Айтматовым, Василём Быковым, Сергеем Залыгиным, Константином Симоновым и, в том числе, — Катаевым с осуждением “клеветующих на наш государственный и общественный строй, пытающихся породить недоверие к миролюбивой политике Советского государства и по существу призывающих Запад продолжать политику “холодной войны”.

7 января 74-го года на Политбюро решался вопрос о “пресечении антисоветской деятельности” Солженицына (после того, как в декабре 73-го первый том книги “Архипелаг ГУЛаг” вышел в Париже в издательстве “YMCA-Press”). “Он пытается создать внутри Советского Союза организацию, сколачивает её из бывших заключённых, — докладывал Андропов. — У нас в стране находятся десятки тысяч власовцев, оуновцев и других враждебных элементов”. 12 февраля Солженицын был арестован и 13 февраля доставлен на самолёте во Франкфурт-на-Майне.

15 февраля 74-го года в “Правде” Катаев прощался с Александром Исаевичем железным слогом: “Смерть любого человека всегда тягостна для ок-

* Николай Павлович Смирнов (1898–1978) — писатель.

ружающих людей, тем более гражданская смерть человека, отпадение его от общества, от государства. Однако с чувством облегчения прочитал я о том, что Верховный Совет СССР лишил гражданства Солженицына, что наше общество избавилось от него. Пользуясь терпением народа, партии, вопреки нашей надежде, что в нём, наконец, заговорит совесть, Солженицын вступил в борьбу с Советской властью — борьбу, которая рекламировалась им как открытая, прямая, а на самом деле была подрывной и велась подпольными методами — методами “пятой колонны”. Люди моего поколения, прошедшие со страной весь сложный, трудный — с громадными жертвами, — но славный и героический путь от Октябрьской революции до наших дней, могут сказать только одно: никому не позволим подрывать основы советской государственности. Поэтому гражданская смерть Солженицына закономерна и справедлива”.

Вслед за этой публикацией в переделкинском доме раздался звонок. “Какой-то Суслов”, — сообщила домработница... Катаев взял трубку. “Главный идеолог” благодарил.

Бenedикт Сарнов вспоминал: “Наутро, когда указ о “выдворении” был объявлен, у меня прямо камень с души свалился”, — и добавлял, что среди множества публикаций отклик Катаева на это событие “слегка выделялся”. Прочитав катаевское “с чувством облегчения”, он “подумал, что наверняка Валентин Петрович таким казённым способом выразил то, что чувствовал на самом деле... А поскольку “чувство огромного облегчения” было тем самым чувством, которое испытал и я, узнав, что А. И. уже в Германии, у Бёлля, — мне показалось, что Валентин Петрович почувствовал (и хотел выразить) именно это. А может быть — кто знает! — так оно на самом деле и было?”

Семён Липкин, гулявший по Переделкину со своей женой Инной и Катаевым, однажды спросил напрямик:

— У вас есть слава, любовь читателей, вы богаты, чего же вам ещё надо от государства?

Он вспыхнул:

— Меня Союз писателей ненавидит — все эти напыщенные Федины, угрюмо-беспомощные Леоновы, лакейские Марковы, тупорылые Алексеевы и прочие хребты саянские*. Они знают, что я презираю их, и я спасаюсь, подчёркивая свою официальную преданность власти. И не забудьте, я член партии.

— А для чего вы в неё вступили? Вы её любите? Вы марксист-ленинец?

Он продолжал, не отвечая на мой вопрос, волновался:

— Иначе мне житья не будет...”

Прервём цитату. “Житья не будет” — откуда это влезшее в плоть ожидание? Не из 20-го ли ещё года, когда едва не отобрали жизнь?

“Вы не знаете, как трудно печатались мои лучшие вещи, каждая встречалась отрицательными статьями влиятельных критиков. В сталинское время было страшно. Да вот и теперь не понят “Алмазный мой венец”, клюют, щиплют.

— Я вам сочувствую, но вы платите дорогой ценой. Например, своей подписью под требованием выслать из страны Солженицына, великого русского писателя.

— Он не великий. Он хороший писатель. Хороши “Один день Ивана Денисовича”, “Матрёнин двор”. Дальше пошло хуже, просто плохо...

— Как может писатель требовать, чтобы власть выслала собрата по перу за пределы родины? Поступили бы так Короленко, Чехов, Бунин? Иногда мне кажется, что вы не понимаете величину своего таланта, унижаете его.

— Какой я талант, я средний писатель. Собирают ареопаг. Один из секретарей предлагает, чтобы КГБ снова бросил Солженицына в концлагерь. Выступает Расул Гамзатов, советует выдворить Солженицына за границу. Я, жалея Солженицына, присоединяюсь к хитрому горцу. Всё-таки жизнь вашего гения была спасена”.

* “Хребты Саянские” — эпопея одного из руководителей СП СССР Сергея Сартакова (1908–2005).

Понятно, что судьбу Солженицына решили не писатели, а партийное начальство...

Но Павел Катаев подтверждает тогдашнюю логику отца: он одобрял высылку как единственную возможность избежать заключения.

Государство и левитация

“Самое драгоценное качество художника — это полная, абсолютная, бесстрашная независимость своих суждений”, — важнейшая идея Катаева, ценившего простор творческого своеволия (или, сместив акцент, скажем по-пушкински — самостоянья) и чуждого узости гражданственной экзальтации.

“Он своими книгами, — полагала литературовед Мария Литовская, — как бы требует иной системы координат: когда искусство и политика отделяются друг от друга”.

Она же отмечала благородный (в значении — древний) генезис катаевского отношения к миру: “Никому не приходило в голову обвинять, скажем, Рафаэля в стремлении заработать или Фирдоуси в угодничестве перед властями”. “В своём творчестве художник всегда ощущает себя государственным человеком. Иначе какой же он творец!” — сказал Катаев Борису Галанову.

“Самое поразительное, что на протяжении всего своего века ему удалось сохранить эту центристскую позицию, спокойно, по крайней мере, внешне, следуя своим путём”, — писала Литовская.

Действительно, политическую “суету” Катаев воспринимал довольно равнодушно.

По-настоящему его занимала физиология — и этот интерес сливался со страстью к литературе.

В 75-м Василий Аксёнов отправил нескольким своим друзьям (кроме Катаева, Ахмадулиной, Вознесенскому, Окуджаве, Искандеру, ещё не уехавшему Гладилину) литературную анкету. Катаев ответил “дорогому Васе” с поощрительной тёплой и наставнической иронией. Среди прочего, он писал: “Проникнуть в тайну художественного творчества, в самую его суть — напрасный труд. Это ещё непосильнее, чем хирургическим путём пытаться обнаружить в коре головного мозга механизм сна, механизм регуляции кровяного давления, механизм сновидений, предчувствий, наконец, механизм, возбуждающий в человеке чувство направленной страсти, любви”.

Хирургическим путём не обнаружишь, но ведь как-то иначе можно...

Первая сигнальная система... Вторая, позволяющая представить “образ”... Третья...

Эти секреты его занимали всё больше. Он всё настойчивее вникал в загадку человеческой психики, и “мовизм” был одной из попыток докопаться до первичных, “досознательных” тайн своей личности, при этом заворожив читателя. Внучка Катаева Тина рассказала мне, что в конце 70-х у него на полке рядом с письменным столом стояла книга “Мозг и сознание” испанского нейрофизиолога Хосе Дельгадо. Учёный применял электростимуляцию и радиостимуляцию мозга, выявив центры, связанные с эмоциями, влечениями, ощущениями страдания или удовольствия, наслаждения. Катаев предполагал, что возможна ещё и литературная стимуляция читательских мозгов. И — специальное сканирование писательских. “Глядишь, нащупают какой-нибудь “нервный центр вдохновения” или “буторок озарения”, составят “карту” творческого воображения”, — заявлял он журналу “Вопросы литературы”. В кабинете в шкафу стояли Библия и “Диалектика природы” Энгельса (незаконченный труд по естествознанию, в котором предсказывается гибель человечества под остывшим Солнцем). Он читал Зигмунда Фрейда и Ивана Павлова, обсуждая с домашними, и склонялся к идеям русского физиолога. Книг в доме вообще было много, и ступени лестницы, ведущей на чердак, использовались как книжные полки...

В “Разбитой жизни” Катаев писал, что троюродный брат его отца был учёным-физиологом и как-то зазвал его к себе в лабораторию посмотреть, как препарировал человеческий мозг. “Меня ужасала мысль, что в этом восковом слитке высокоорганизованной и такой непрочной материи может ка-

ким-то образом отражаться, жить, существовать всё, окружающее человека, — весь мир, вся вселенная, весь я...”

Предчувствия, вещие сны, предсказания... Катаев верил во всё это, но считал не столько мистическими, сколько материальными, не изученными наукой явлениями.

В “Волшебном роге” он рассказывал, что у родителей был знакомый арендатор, которого звали Кисель Пейсахович. Одну из батрачек на его винограду звали Маруся: “Я видел её всего два или три раза, и всегда именно в то время, когда она вместе с другими девчатами сбегала вниз к Днестру купаться”. Прошло немало времени, и вот однажды “послышался голос мамы, открывавшей дверь, потом голос папы и, прежде чем я добежал до передней и увидел Кисель Пейсаховича в потемневшем от дождя брезентовом пальто с кашпоном на спине, я уже знал, что утонула Маруся.

— Утонула Маруся? — дрожа от страха, закричал я.

Этот порыв ясновидения испугал маму, и она, побледнев сама, стала меня успокаивать, говорить, что я фантазирую”. Но гость “подтвердил, что в прошлом году, после того как мы уехали, батрачка Мария действительно утонула, купаясь в Днестре, необычайно раздувшемся после летних ливней в Карпатах”.

В восемьдесят два он писал о “божественной невесомости” и ощущении человеком возможности “лететь, как бабочка”. В восемьдесят пять вспоминал юношеский сон на войне: “Мне снилось, что я летаю в какой-то незнакомой большой комнате под самым потолком”.

Домашние помогали ему “левитировать”. Тина Катаева называет это “опытами с биоэнергией”.

Они соприкасались руками над головой неподвижно сидящего на стуле Валентина Петровича. Потом под мышки и под колени легко поднимали “испытываемого”, вдруг потерявшего вес.

Он делался невесомым. Для него отменялось тяготение. Казалось, он устремлялся к потолку, как воздушный шар.

Древний вампир, он учился летать тёмными переделкинскими вечерами...

Между прочим, вампир-государственный.

20 марта 77-го года в “Правде” Катаев выступил против “диссидентов”. Казалось бы, зачем? Восемьдесят лет, звезда Героя есть, должностных амбиций нет, ничто не угрожает, живи на даче и побеждай земное тяготение в текстах и не только...

А может быть, он так и думал, как писал в газете?

Статья называлась “Хочу мира”. Он вспоминал об истоках советской власти и “Скифах”: Блока: “И вправду, это была варварская лира”. Затем, когда страна прошла “трудный, тернистый путь”, “возникла могущественная держава, одно из сильнейших государств мира”. Ей всегда доставалось от разных недругов (“то Геббельс, то бандеровцы”), и вот — новая напасть: “Появились так называемые “диссиденты”, или “инакомыслящие”, сделавшие из своего “диссидентства” и “инакомыслия” довольно выгодную профессию. Они разными путями бежали или были изгнаны со своей родины за границу и подняли там ужасный антисоветский шум, который изредка доносится до слуха честных советских людей по каналам множества радиостанций. Откуда берутся колоссальные деньги на их содержание, даже и догадываться нечего. Антисоветская пропаганда то немного утихает, то снова усиливается. Сейчас, например, мы наблюдаем очередной шквал. Если считать по сейсмической шкале — баллов восемь-девять. Обычно при этой силе землетрясения уже начинают обваливаться здания. Однако Советское государство не ощущает ни малейших колебаний, хотя шум стоит страшный. Можно подумать, что мир рушится. А, собственно, что произошло? В чём дело? Просто “диссиденты”-неудачники высосали из пальца вопрос о “правах человека” и сделали из него орудие антисоветизма, а также (заметим мы в скобках) дойную корову, к соскам которой крепко присосалась “диссидентская” братия... Но ведь, как сказал Пушкин, надо уметь “сохранить и в подлости осанку благородства”... Неужели же вы, синьоры “диссиденты”, не знаете, что в стране, которая вам платит, вас содержит, убивают президентов, неудобных политических деятелей, взрывают дома, подслушивают

телефонные разговоры, воруяут, берут взятки, грабят на улицах, грабят в метро; предприниматели грабят рабочих, миллионы безработных ищут и не могут найти себе работу, миллионы девушек и юношей гибнут от наркотиков; процветают алкоголизм и проституция, похищаются дети, совершаются вооружённые нападения, банды гангстеров берут заложников и убивают их, орудует мафия”. Напоминает постсоветскую картину из “России в обвале” Солженицына (включая обличение “радиоголосов”).

“Диссидентов” ещё иначе называют “инакомыслящими”, — продолжал Катаев. — Они, так сказать, мыслят иначе. Они не согласны с советским образом жизни, собственно, они не согласны с самим фактом существования нашего Советского государства. Конечно, это их право. Могут и не соглашаться. Но подрывать его основы, его институты — извините. Подрывать свои основы не позволит ни одно государство в мире — ни социалистическое, ни капиталистическое”.

Повторяющийся публицистический мотив — “подрывают основы” (эхо грубого стихотворения 1911-го: “Шатает основы твои”?)..)

Под конец жизни Катаев заявил журналисту Борису Панкину, что у белогвардейцев “была ясная программа”: “Вот вернёмся, не одних только большевиков к стенке поставим, всех, кто *расшатывал*”.

Любопытно, что он уважительно признавал правила и “капиталистического государства” (сразу вспоминается торжество в “Кубике” по случаю разгрома парижских смутьянов). То есть суть не в идеологичности, а, прежде всего, в “порядке”, в опасении — как оказалось, справедливым! — отмены “самого факта существования” большой страны, а значит, распада устоявшейся жизни. Ведь и для белого движения первична была не идеология, а “Россия — единая и неделимая”.

Не о таком ли единстве Родины — имперской и красной — он писал в последних строках “Разбитой жизни”?

“...тень Луны промчалась по полям прошлых и будущих сражений. По Добрудже, по Молдавии, по виноградникам Скулян, где некогда жил мой прадедушка, капитан Елисей Бачей, где родился мой дед — мамин папа, — генерал Иван Елисеевич Бачей, по отрогам Карпат, где я лежал с ногой, простреленной навывлет... И где маршевая рота с красным бархатным знаменем... шла...”

19 октября 77-го года в Большом Кремлёвском дворце состоялся “объединённый пленум правлений творческих союзов и организаций СССР”. Почётный президиум возглавил Брежнев. Выступавший одним из первых Катаев отмечал, что особенное русское слово “интеллигенция” увековечено в новой советской Конституции, и благодарил за этого “нашего дорогого товарища и друга Леонида Ильича”. Вспомнил Катаев и возвращение Куприна в 37-м, про которого отчеканил: “Он был честным русским патриотом”. То ли дело “клеветники России”: “Чем очевиднее наши успехи и наша правда, тем громче их крики и вопли... Клеветайте, господа, клеветайте! Вам не удастся ни на один миг задержать наше триумфальное шествие вперёд! Это про вашего брата, продажного клеветника-антисоветчика, можно сказать, слегка перефразируя слова Пушкина:

*Клеветник без дарованья,
Палок ищет он чутьём,
А дневного пропитанья
Ежесуточным* враньём”.*

Конечно, такая речь понравилась не всем. Василий Аксёнов вспоминал, как “поднимался по лестнице Большого Кремлёвского дворца в то время, как динамики разносили по всему огромному помещению речь Катаева” — и “душа затуманилась грустью и досадой”.

“Говорят, что на такие и подобные акции его побуждали личные просьбы Михаила Андреевича Суслова, — добавлял Аксёнов. — Если это действи-

* У Пушкина — “ежемесячным”. Эпиграмма на Михаила Каченовского, издателя “Вестника Европы”.

тельно так, тогда это ещё можно понять: ну, как откажешь столь обаятельному господину?..”

Прозаик Аркадий Львов сидел в гостиной у Катаева, когда на экране стали показывать “государственно-творческое собрание”: “Он заёрзал в своём кресле, засуетился, протянул руку в сторону телевизора... Вскочил, подбежал к телевизору, приложил к ящику слева ладонь и сказал: “Вот здесь сидел я, а Суслов рядом, немножко правее, если смотреть отсюда”. То обстоятельство, что он сидел рядом с Сусловым, естественно, не было случайным. В кремлёвской табели о рангах, особенно когда дело касается распределения мест в правительственной ложе, случайностей не бывает... Суслов уже давно сделался его добрым гением, об этом по Москве шёл упорный слух...” Приведу и концовку из катаевской записки “дорогому Михаилу Андреевичу” с просьбой об очередном вояже в Париж: “Крепко жму руку и надеюсь на Ваше доброе ко мне отношение”.

А кто побуждал Аксёнова несколькими годами ранее в эссе о Катаеве славить установление советской власти в Одессе: “Дни, одухотворённые романтикой и страстью революции... Конники Котовского на мокрой брусчатке, жилистые матросы в пулемётных лентах... Верность своей родине, в кровавых муках меняющей кожу...”? Цензурный комитет? Ещё несколько лет спустя он завлекательно воспоёт зашибательскую крутизну Америки... И ведь Аксёнов же — вопреки Евтушенко и другим своим товарищам — 3 апреля 63-го выступил в “Правде” с заявлением под названием “Ответственность”: “Я никогда не забуду обращённых ко мне во время кремлёвской встречи словых, но вместе с тем добрых слов Никиты Сергеевича и его совета: “Работайте! Покажите своим трудом, чего вы стоите!”... Для меня прояснилось направление моей будущей работы, цель которой — в служении народу, идеалам коммунизма...”

Цитирую, не осуждая, а наоборот — возражая всем, желающим размашисто судить-рядить, цепляя других, но только не себя...

Вениамин Смехов рассказал мне, что выступление Катаева возмутило творческую “передовую среду”. Открыто и прямо высказанное государственничество воспринималось как нонсенс. Вскоре, 6 ноября он увидел Катаева в Париже в нашем посольстве на приёме, посвящённом 60-летию советской власти. Там был огромный размер осётр, и актёры Таганки: Алла Демидова, Зинаида Славина, Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, Борис Хмельницкий... Катаев приблизился к ним, желая вступить в разговор. Поздравил Смехова с ролью Воланда (в том году в театре состоялась премьера “Мастера и Маргариты”).

— Я с начальством не знаюсь, — внезапно произнёс худрук “Таганки” Юрий Петрович Любимов.

И повернулся к Катаеву спиной...

Если так всё и было, то остаётся только дивиться логике “скрытого диссидентства”: отрицать власть, отмечая её юбилей. Да и с различным начальством, включая главу КГБ Андропова, Юрию Петровичу приходилось именно знать, притом постоянно — он даже пользовался телефонами правительственной связи.

Что до комплиментов генсеку и похвал СССР, вспомним: в 73-м году не кто иной, как Александр Соколов в “Письме вождям Советского Союза”, призывая к мирной эволюции советской системы в сторону “национальных идей”, называл Брежнева “простым русским человеком со здравым смыслом”. Многие пассажи Александра Исаевича по патриотическому пафосу даже перехлёстывали рамки тогдашней “Правды”: “Внешняя политика царской России никогда не имела успехов сколько-нибудь сравнимых... От всех этих слабостей с начала и до конца освобождена советская дипломатия. Она умеет требовать, добиваться и брать, как никогда не умел царизм. По своим реальным достижениям она могла бы считаться даже блистательной: за 50 лет, при всего одной большой войне, выигранной не с лучшими позициями, чем у других, — возвыситься от разорённой гражданской смуты страны до сверхдержавы, перед которой трепещет мир! Некоторые моменты особенно поражают сгроможением успехов. Например, конец второй мировой войны, когда Сталин, без затруднений всегда переигрывавший Рузвель-

та, переиграл и Черчилля... Нисколько не меньше сталинских успехов надо признать успехи советской дипломатии последних лет... На такой вершине ошеломляющих успехов неохотнее всего воспринимаются чьи-то мнения или сомнения. Сейчас, конечно, самый неудачный момент приступить к вам с советом или увещанием". В этом же манифесте Солженицын признавал реалистичным для России единовластие и опасным поспешное насаждение западной демократии.

Вот и Катаев там и тут, к примеру, в "Алмазном венце" сообщал, что гордится "торжеством своего государства", и называл его "сверхдержавой".

Но если судить поверхностно, один — пострадавший от власти — отважный бунтарь, другой — с властью ужившийся — опасливый приспешник...

Возвращаясь к Василию Аксёнову: по одной версии, это он ранней весной 78-го, сидя в соседнем зубоврачебном кресле, предложил 30-летнему писателю Виктору Ерофееву выпустить сборник ранее не публиковавшихся художественных текстов. По версии Ерофеева, эту идею Аксёнову подарил он.

В 70-х годах государство начало реорганизовывать цензурную систему. Пирамиду, в которой Главлит подчинялся ЦК, сменяла децентрализация, контроль переходил к "творческим союзам". (Характерно, что после скандала в 74-м с разогнанной уличной выставкой неофициального искусства, художникам-авангардистам выделили зал в Московском горкоме художников-графиков на Малой Грузинской улице.)

Альманах "Метрополь" стал вызовом для власти, ещё не способной отказать от запретов, хотя "дело Метрополя" показывает, как переменились её реакции со времён "дела Синявского-Даниэля". Начальник 5-го управления КГБ Филипп Бобков позднее и вовсе утверждал: "Мы просили не разжигать страсти и издать этот сборник, такой вопрос, считали мы, лучше решить по-писательски". Он валил всё на главу Московской писательской организации Феликса Кузнецова, который в разговоре со мной настаивает: именно в московском управлении КГБ ему показали экземпляр альманаха и попросили что-то предпринять в связи с его готовящейся презентацией.

Кстати, незадолго до скандала, рассказывает Кузнецов, в Нью-Йорке, куда он в очередной раз прилетел во время "обмена культурными делегациями", к нему в гостиничный номер с вискарём пришёл "близкий к Госдепу" американец и предложил: "Не хотели бы вы как знаток современной русской литературы составить антологию произведений, которые лежат в столах писателей, и издать её в США?". "Я ответил: "Вы предлагаете мне нарушить закон".

Итак, в 79-м году в Москве тиражом 12 экземпляров вышел альманах "неподцензурной литературы".

"Метрополь" печатала летом 78-го машинистка из "Юности", а одновременно шёл процесс вступления в Союз писателей составителей сборника Виктора Ерофеева и Евгения Попова.

Писатель Николай Климонтович, друживший с "метропольцами", приводил "симпатичный устный рассказ" Аксёнова: когда в ЦК Катаева и иже с ним обнадёжили с проектом "Лестница", тот пригласил их в ресторан "Метрополь". "И не здесь ли исток названия через полтора десятка лет организованного альманаха, — писал Климонтович. — Оба молодых писателя (Евтушенко и Аксёнов) были сражены заказом: мэтр потребовал свежих калачей, красной и чёрной икры и ледяного шампанского-брюта. Василий Павлович, усвоив этот урок настоящего барского шика, на деле — вполне купеческого, собирался нечто подобное устроить и на "метропольской" вечеринке". Была и другая версия названия: "Метрополь — столичный шалаш над лучшим в мире метрополитеном", — сообщалось в аннотации. Но то, что альманах стал отголоском несбывшегося катаевского журнала, подтверждает и Попов... Об этом рядом со словами о "Лестнице" писал и сам Аксёнов: "Метрополь" во многом осуществил то, что смутно мерещилось наивным юнцам молодой "Юности".

Альманах тайно переправили в Америку — в издательство "Ardis Publishing" — и во Францию — в "Éditions Gallimard". Он содержал как тексты "легальных" авторов (Беллы Ахмадулиной, Владимира Высоцкого, Андрея Битова и других), так и "непроходных" (например, Юрия Кубланов-

ского и Юрия Карабчиевского). Некоторые тексты уже были напечатаны (стихи Вознесенского и рассказ Искандера), а некоторые заведомо быть напечатаны не могли. Рассказ Виктора Ерофеева назывался “Приспущенный оргазм столетия”: “Женщина, не соблюдающая менструального поста, хуже фашиста. Слово МЕНСТРУАЦИЯ — одно из самых красивых слов русского языка. В нём слышится ветер и видится даль (Даль?)”. Здесь же была знаменитая “Лесбийская” уже подавшего на отъезд по “израильской визе” Юза Алешковского.

Трифонов уклонился от участия. Евтушенко не пригласили, вызвав его обиду. Есть мнение, что Аксёнов решил, что он “потянет одеяло на себя”, памятуя интригу вокруг катаевской “Лестницы”. Катаева тоже не позвали... Не та “весовая категория”. Герой Соцтруда.

“Отношение его к альманаху было сочувственное”, — сказал мне Евгений Попов и вспомнил: “В 23 года, в 69-м, я послал ему рассказы и получил ответ, написанный авторучкой. Он рассказы хвалил, но говорил, что я слишком груб, и рекомендовал мне писать более изящно и не бросать основную профессию (геолога)”*.

Альманах направили в ВААП, Госкомиздат, издательство “Советский писатель”, предложив выпустить его без цензурных правок. Презентацию (“вернисаж”) назначили на 21-е января в кафе “Ритм”. Туда позвали работавших в столице иностранных журналистов. В этой связи 20 января авторов альманаха пригласили на расширенное заседание секретариата Московской организации Союза писателей. Как следует из стенограммы, на вопрос: “Текст альманаха за границей?” — Аксёнов и все составители дружно воскликнули: “Нет!” Руководство СП требовало от “метропольцев” отменить “вернисаж” и не передавать альманах на Запад.

Уже 25 января в эфире “Голоса Америки” издатель Карл Проффер заявил, что “Метрополь” скоро выйдет на английском и французском. “КГБ справедливо утверждал, что вся игра заранее была построена на обмане”, — отмечал Николай Климонтович.

16 мая 79-го года из Союза писателей исключили “организаторов” Евгения Попова и Виктора Ерофеева (было принято решение не выдавать им членские билеты).

В это время Аксёнов, Попов и Ерофеев ехали в Крым. Последний вспоминал: “Аксёнов ночью, уже за Харьковом, в своей зелёной “Волге” сказал мне, что он печатает роман “Ожог” на Западе. О, как! Я встретился. По тайной договоренности с КГБ, Аксёнов (с ним доверительно поговорил то ли полковник, то ли генерал) не должен был печатать за границей этот весьма скверный (но тогда ценилась антирежимность!) и непонятно как попавший в КГБ роман (автор дал его почитать только близким друзьям, я тоже попал в *happy few*). Иначе с ним обещали расправиться и выгнать из страны. Я попросил объяснений. Но несмотря на то, что за месяцы “Метрополя” я несколько вырос диссидентским званием в узком мире свободной русской литературы, Аксёнов отделался неопределённым мычанием”.

“Всё лето и осень шли переговоры с Юрием Верченко и Сергеем Михалковым (оргсекретарем правления СП СССР и председателем СП РСФСР) о том, что нас восстановят во избежание дальнейшей эскалации скандала”, — говорит Евгений Попов. 21 декабря 79-го года их вызвали на секретариат Союза писателей РСФСР.

“Будущий светоч демократии Даниил Гранин объявил, что в Союзе писателей нам делать нечего. “Ребята, я сделал всё, что мог, но против меня сорок человек”, — тихо сказал мудрый хитрый Михалков, который наперёд знал, что я запомню эти слова и когда-нибудь кому-нибудь о них сообщу. Например, вам. Бондарев всё заседание промолчал, лишь жестами, как глухонемой, выражая своё возмущение. Очевидно, не хотел светиться в стенограмме... “Прекрасный подарок Союза писателей к столетию Сталина” — под таким заголовком на следующий день вышло наше совместное с Ерофеевым интервью в газете “Нью-Йорк таймс”.

* По словам Павла Катаева, отец отвечал на каждое письмо, несмотря на их обилие.

Сразу же в знак протеста из Союза писателей вышли Аксёнов, Инна Лиснянская и Семён Липкин. 22 июля 1980 года Аксёнов, его жена Майя, её дочь Алёна и внук Иван улетели в Париж, откуда через пару месяцев перебрались в Штаты. 20 ноября 1980 года Аксёнов был лишён советского гражданства.

После выхода из Союза писателей Лиснянская и Липкин поселились в Переделкине у знакомой женщины (вдовы приятеля Липкина, литературоведа Николая Степанова). “Неожиданно для себя оказались диссидентами, — вспоминал Семён Израилевич. — Часто встречались с прогуливающимся Катаевым, обменивались незначущими словами, но дружелюбно, что я отметил в это трудное для нас время, когда обыватели переделкинских дач и Дома творчества из числа прогрессивных старались с нами не здороваться.

Однажды он подошёл ко мне, похожий в своей красной рубашке на Савву Леонида Андреева, и сказал:

— Я прочёл вашу “Волю”. Вы новатор в традиции. Большой поэт.

И тут же на улице Гоголя, гуляя со мной, стал читать наизусть запомнившиеся ему строки, восхищался и лирикой, и поэмами. Замечу: о книге, изданной в Америке издательством “Ардис”, составленной изгнанником Иосифом Бродским, он говорил таким тоном, как будто книга вышла в обычном московском издательстве, вещи весьма несоветского содержания оценивал только с художественной стороны, как бы не замечая их политической направленности...

Я понимаю, что некрасиво писать о том, как тебя хвалят, но потому так отважно, не боясь насмешек, сообщая мнение Катаева о книге, изданной нелегально за рубежом, что мне хочется понять и изобразить сложный, как теперь принято выражаться в таких случаях, характер моего знаменитого собеседника”.

“Уже написан Вертер”

Лето 80-го. “Новый мир” № 7. “Уже написан Вертер”.

Изначально рассказ назывался “Гараж” и был написан в январе-августе 79-го года. Но весной 80-го вышла на экраны одноименная комедия Рязанова, и Катаев в корректуре изменил заголовок и сократил с восьми листов до трёх.

Одна из версий, почему он это написал: после отторжения “прогрессивной интеллигенцией” его “Венца” (“клюют, щиплют”) в отместку решил “сделать погорячее”.

Но главное, он писал своего “Вертера” снова и снова (и в “Отце” сквозь 20-е, и в киноповести “Поэт” 57-го, и в “Траве забвенья”), рассыпая то крупные осколки, то стеклянную пыль витража разбитой жизни...

Катаева часто упрекали в “бестемье”, вернее, в способности притягивать любой сюжет к самодостаточной изобразительности. Но тут была смертельно важная для него Тема.

Расстрельная пуля снова и снова вылетала и не могла долететь.

Всё в прошлом. Одесса под большевиками. Богатая семья, дававшая воскресные обеды, рухнула, отец бежал в Константинополь, мать “распродает барахло”, а их сын — юный художник Дима, нелепо и случайно замешанный в белогвардейском заговоре, — арестован. Конвоиры вудут его по улицам. “Одна старушка с мучительно знакомым лицом доброй няньки выглянула из-за угла и перекрестилась. Ах, да. Это была Димина нянька, умершая ещё до революции. Она провожала его печальным взглядом”. Он ждёт расстрела в подвале ЧК. Сдала жена, подосланная и оболъстившая гражданка-сексот Лазарева, вместо имени Надя хотевшая назваться Гильотиной, но остановившаяся на Инге, ученица совпартшколы “с маленьким белым шрамом на губе”. Мать обречённого Лариса Германовна в надежде на чудо припадает к бывшему эсеру-бомбисту Серафиму Лосю, который когда-то читал у них на даче “что-то своё, революционно-декадентское”. Лось отправляется к следователю ЧК Максиму Маркину, с которым они бежали с каторги:

— Вспомни напильник. Может быть, ты посмеешь отрицать, что напильник достал я?

— Напилисьник достал ты, — смущённо пробормотал Маркин.

— Так подари мне жизнь этого мальчика”.

В час ночных расстрелов Маркин уводит приговорённого юношу и выталкивает, отперев *маленькую железную дверь в стене*:

— Уходи и больше не попадайся.

Лариса Германовна видит на афишной тумбе газету со списком расстрелянных, обнаруживает там имя сына, и, вернувшись домой, принимает смертельную дозу “веронала”. Инга, встретив Диму в “общественной столовой”, яростно вскрикивает:

— Значит, контра пролезла даже в наши органы! Ну, мы ещё посмотрим.

Ему показалось, что всё это уже когда-то было... Неподвижно развевающийся плащ удаляющегося Иуды”.

Она врывается к прибывшему в город “особоуполномоченному по чистке органов” Науму Бесстрашному, и теперь в ярости он: “Как! Выпустить на свободу контрреволюционера, приговорённого к высшей мере?”

Бесстрашный, быть может, ключевая фигура повести. Он только что вернулся из революционной Монголии, где всем подряд по его приказу отрезали традиционные косы. “Он стоял в позе властителя, отставив ногу и заложив руку за борт кожаной куртки. На его курчавой голове был будёновский шлем с суконной звездой... Улыбаясь щербатым ртом, он не то чтобы просто говорил, а как бы даже вещал, обращаясь к потомкам с шепелявым восклицанием:

— Отрезанные косы — это урожай реформы.

Ему очень нравилось выдуманное им высокопарное выражение “урожай реформы”... Время от времени он повторял его вслух, каждый раз меняя интонации и не без труда проталкивая слова сквозь толстые губы порочного переростка, до сих пор ещё не сумевшего преодолеть шепелявость. Полон рот каши... А может быть, ему удастся произнести их перед самим Львом Давыдовичем, которому они непременно понравятся, так как были вполне в его духе... Его богом был Троцкий, провозгласивший перманентную революцию. Перманентная, вечная, постоянная, неухающая революция. Во что бы то ни стало, хотя бы для этого пришлось залить весь мир кровью... У него, так же, как и у Маркина, был неотчётлив выговор и курчавая голова, но лицо было ещё юным, губастым, с несколькими прыщами”.

Первым делом он приказывает арестовать саму Ингу, жену “скрывшегося юнкера”.

И вот уже расстреливают раздетых донага и её, и Маркина, и Серафима Лося... А спустя годы на Лубянке расстреливают самого Наума Бесстрашного, целующего сапоги чекистам...

Дома Дима находит мать бездыханной и записку: “Будьте вы все прокляты!” Он бежит к “военному врачу, который служил в добровольческой армии, застрял в городе и теперь отсиживался на даче в погребе, ожидая каждую ночь ареста”. Верный клятве Гиппократу, тот, преодолевая страх, следует за знакомым, которого полагал расстрелянным, но может лишь констатировать смерть. “Дима стоял на коленях возле тахты, целовал мраморно-твёрдые, холодные материнские руки и плакал, а доктор — в военном кителе со срезанными погонами, в фуражке с синим пятном от кокарды, с докторским саквояжем в руке — гладил его по ещё колочей голове и говорил, что ему надо как можно скорее скрыться или лучше всего бежать вместе с ним...”

И вся эта история — переделкинский сон автора...

И опубликована она ведущим литературным журналом Советского Союза!

Публикацию предварял редакционный врез: “В основе этой прозы не конкретные воспоминания, но память о целой эпохе” — опасливая, но глубоко верная формулировка. Киношно-сновиденческий сюжет условен: Катаев написал именно об эпохе, о механизме и метафизике “большого террора”, отсчёт которого нельзя вести с лубянского подвала, и тогда Наум Бесстрашный предстает уже не “жертвой репрессий”, а палачом, получившим воздаяние...

Всё началось раньше. Недаром и в “Алмазном венце” повествователь всматривается в парижский “нож гильотины, тот самый, который некогда на

площади Свободия срезал головы королю и королеве, а потом не мог уже останавиваться...”

Два вождя революции: один — на портрете, другой — в кино пожирают былое. “Вместо царского портрета к стене был придавлен кнопками литографический портрет Троцкого с винтиками глаз за стеклами пенсне без оправы”... “Чёрный язык оборванной ленты слизал с экрана глаза Мозжухина (русского актёра, покинувшего Россию в 20-м. — С. Ш.), и тотчас на мелькающем экране показался худой, измученный болезнью Ленин. Он ходит взад-вперёд по начисто выметенному кремлёвскому двору, по его мостовой и плитам, между Царь-пушкой и Царь-колоколом...”

В новомировском врезе, написанном лично главным редактором Сергеем Наровчатовым, Катаева даже объявляли фантазёром: “В ней, этой памяти, причудливо соединились увиденное, пережитое, пережитое, прочитанное и — домысленное, нафантазированное, угаданное”. Редакция пыталась списать всё на отдельные “искривления и нарушения законности”: “Повесть старейшего советского писателя В. Катаева, свидетеля и очевидца тех времён, самым своим остриём направлена против врагов революции. Сегодня в связи с оживлением троцкистского охвостья за рубежами нашей родины, в накале острой идеологической борьбы гневный пафос катаевских строк несомненно будет замечен. Наше короткое вступление имеет целью привлечь внимание читателя к фактам многолетней давности, незнание или забвение которых затруднит восприятие катаевской повести”.

Сумбурное предисловие не случайно и как будто бы адресовано “наверх”. Зачем вы навязали этого старика? Его гневный пафос несомненно будет замечен за рубежом в накале борьбы...

Будь воля редакции — Катаева бы не напечатали!

В то время верования советской либеральной интеллигенции сводились к тому, что всё плохое пришло со Сталиным (а по стилю воспроизводило “царизм”). Напомним, и “перестройка” началась с повторения оттепельного лозунга “возвращения к ленинским нормам” и реабилитации казнённых участников так называемой “троцкистской оппозиции”, превратившихся в героев журнала “Огонёк”. Но “контрик” Катаев был равнодушен к “похищенному Прометееву огню революции”, какие бы левые вихри ни крутили его в Мыльниковом переулке.

Если бы он протасил в прозу осуждённые партией “сталинские репрессии”, его бы лобзали и ласкали. Но он-то внаглую, с обезоруживающей трагически-лунатической усмешкой одиночки долбанул напрямик по тогда ещё недостижимо-святому — по “комиссарам в пыльных шлемах”...

Убеждён, “Уже написан Вертер” в “Новом мире” 80-го (с радикальным замахом на весь большевизм) имел не меньшее политическое значение, чем “Один день Ивана Денисовича” в том же журнале в 62-м.

Но Катаева не приняли. Он вломился на системное поле, ни с кем не считаясь, не по свистку, когда ещё было нельзя, и оставил позади официально-прогрессивную команду, которая с ещё большим негодованием принялась швырять в его старческую спину проклятия... За эту смелую свободу многие — по стайной цепочке — по сию пору не могут его простить.

Критик Наталья Иванова отмечает: “Кем-кем, а либералом советского образца Катаев не был (однако либеральная общественная была абсолютно уверена, что Катаев — “свой”, и именно поэтому столь болезненно отреагировала на “Вертера” — соответственно, как на измену)... Он не посчитался и с общественным мнением — в том числе той группы, которую сам и взрастил. Плюнул в самую душу шестидесятиникам — “Вертером”, не оставлявшим сомнений в его почти физиологической ненависти к большевизму. Да и от антисемитских подозрений в еврейском происхождении (от одесского аканта он до конца жизни так и не избавился) Катаев здесь отрекается совсем недумываясь”.

“Прочёл повесть В. Катаева “Уже написан Вертер”, — писал в дневнике за 11 июля 80-го года критик Игорь Дедков, до самого конца советской власти хваливший Солженицына за антисталинизм и порицавший за антиленинизм. — Такое впечатление, что это инспирированная вещь. В ней есть

некое целеуказание: вот кто враг, вот где причина былой жестокости революции. Троцкий, Блюмкин (Наум Бесстрашный), другие евреи в кожанках... Страшные видения некоего “спящего”... Однако это страшные видения глубоко благополучного человека, который наблюдает страдания со стороны (безопасной!) и потому способен заметить, что по щеке терзаемого существа ползёт “аквамариновая” слеза... * Историческое мышление в этом случае тоже отсутствует; то есть оно настолько подозрительно и нечистоплотно, что всё равно что отсутствует... И неожиданная в старике Катаеве злобность, и бесцеремонное упрощение психологии героев (на каких-то два счёта)”. 5 октября Дедков привёл отзыв критика Лазаря Лазарева: “Белогвардейская вещь”. И соглашался: “Я подумал, что это, пожалуй, правильно: не антисоветская, не какая-то другая, а именно белогвардейская, с “белогвардейским” упрощением психологии и мотивов “кожаных курток” и с налётом антисемитизма”.

1 июля 82-го года Валерий Кирпотин записал: “Пошёл к Катаеву, с некоторой неохотой, но решил — неудобно, многие слишком презрительно говорят о нём... Зашла речь о его повести “Уже написан Вертер”. Я прямо сказал о своём отношении. Катаев стал говорить о ЧК с такой же злобой, как одесский обыватель 1919—1920 г<одов>. Настаивает на том, что “военный коммунизм” — дело рук Троцкого. Я сослался на Ленина. Катаев мне:

— Прочли бы Троцкого, тоже нашли бы обоснование “военного коммунизма”. Ты сам был троцкистом.

Попрощались за руку, но я, конечно, больше к нему ни ногой”.

Александр Рекемчук, в то время член редколлегии “Нового мира”, так вспоминал историю появления катаевской повести: “Может быть, самое яркое из созданного им. И наверняка — самое скандальное (во всяком случае, тогда это было шоком). Заставившее многих его почитателей отшатнуться, отпрянуть в негодовании... Я был в числе отпрянувших. Больше того: я был в числе тех, кто возражал против публикации этой повести в “Новом мире”. Между прочим, тогдашний главный редактор журнала Сергей Наровчатов тоже был смущён прочитанным текстом и, как обычно, когда в редколлегии возникали споры, повёз его куда-то, говорят — в ЦК КПСС, говорят, что к самому Суслову. И оттуда последовала команда: печатать!.. Сейчас уже трудно поверить в реальность подобной ситуации, когда редколлегия — против, а ЦК — за. Но так было в тот раз”.

И впрямь удивительно! ЦК пришлось настоять на свободе художественного слова наперекор свободолобцам-новомировцам.

Хотя так ли уж странно?

То, что “Вертера” всё-таки разрешили, объясняют давней симпатией к Катаеву Суслова и благодарной платой за готовность периодически откликаться на “просьбы партии”. Отдельными политическими заявлениями (впрочем, кто сказал, что совершенно неискренними?) Катаев завоевывал себе право на художественную свободу.

Вот свидетельство журналиста Бориса Панкина, который прямо назвал фамилию Суслова:

— Я послал рукопись в ЦК, — тонко улыбаясь, рассказывал мне Валентин Петрович. — Есть там человек. — Он пристально посмотрел на меня. — Очень большой человек. Я к нему обращаюсь, когда уже вот так, — и он совсем по-одесски, по-молодому, лихо провёл ребром ладони по кадыку. — Помогает. Позвонили от него и сказали: вещь будет напечатана”.

“Да, так он ещё никогда не писал! — запоздало восхищается Рекемчук. — “Урожай реформ”. Косы. Лев Давидович. Нет, это не про Чубайса. Того ещё не было и в помине”. Он спрашивает себя, перечитывая повесть: “Что же нас — меня, в частности, — заставило тогда её отвергнуть?” — и отвечает: “Она была слишком хорошо написана”.

Писатель Николай Климонтович припоминал “забавный случай”, который даже его, “воспитанного в сугубо либеральном духе, несколько покоро-

* Дедков, видимо, не подозревал, что таким же терзаемым существом был и сам Катаев, и “аквамариновая слезинка, блеснувшая в луче электрического фонарика”, могла ползти и по его щеке. В “Вертере” много потустороннего, но не постороннего...

бил". В редакции "Нового мира", "оказавшись в кабинете наедине с одной из самых прогрессивных редакторш журнала" (очевидно, Дианой Тевекелян), он поздравил её с "очень хорошей" повестью, "полагая наивно, что делаю комплимент": "Каково же было моё смущение, когда дама внятно отчеканила: "А я знаю людей, Коля, которые тем, кто хвалит эту гадость, руки не подают..." Лишь позже выяснилось то обстоятельство, что хитрая лиса Катаев, отлично зная, что такое оскал русского либерализма, организовал дело так: повесть была спущена Наровчатому сверху".

Сама Тевекелян так писала в мемуарах: "С Катаевым связан, пожалуй, единственный серьёзный конфликт между Наровчатовым и рабочей редколлегией. Почти все высказались против публикации повести "Уже написан Вертер". Повесть появилась всё-таки, правда, спустя время. Автор получил благословение Суслова".

Другой тогдашний "новомировец", в 81-м возглавивший журнал, — Владимир Карпов — вспоминал: "В тот день привезли в редакцию очередной номер "Нового мира", в котором был напечатан "Вертер". Я принёс его и вручил Валентину Петровичу. Он не верил своим глазам! Потом опомнился, стал меня обнимать и целовать.

После этой публикации Катаев относился ко мне с особенной нежностью, хотя заслуги моей в "пробивании" этой повести не было... И вот Валентин Петрович с того дня простёр на меня свою благодарность и ласку".

Публикацию надо было обмыть.

"Катаев осторожно, будто священнодействуя, достал из буфета тёмную бутылку с яркой этикеткой:

— Это настоящий французский коньяк. Я сам привёз его из Парижа.

В те дни мы ещё не были избалованы импортными напитками, они ещё не появились в продаже, были редкостью.

Валентин Петрович налил в хрустальные рюмочки солнечного цвета заветную влагу. Мы чокнулись.

— За вас. За вашу смелость и отвагу. За публикацию "Вертера".

Когда Борис Панкин спросил Катаева, для чего тот написал "Вертера", ответ последовал в форме тоста.

— Это было испытание для системы. Я предложил советской власти испытание — способна ли она выдержать правду? Оказывается, способна. Выпьем за неё.

Я пригубил из вежливости. Дети и Эстер Давыдовна пить демонстративно отказались...

— Они, — сказал Катаев, обращаясь только ко мне и словно продолжая какой-то спор, который был без меня, — делают кумира, философа из Троцкого. А он же был предтечей Сталина".

Тогда же Катаев недобрым словом помянул Дзержинского ("наверняка был троцкистом"), который, как мы упоминали, и приезжал в Одессу инспектировать чекистов, то есть и был историческим прототипом Бесстрашного.

Но испытание советская власть выдержала не вся и не вполне.

2 сентября 1980 года председатель КГБ Юрий Андропов направил секретную записку в ЦК КПСС: "В Комитет госбезопасности СССР поступают отклики на опубликованную в журнале "Новый мир" (№ 6 за 1980 год) повесть В. Катаева "Уже написан Вертер", в которых выражается резко отрицательная оценка этого произведения, играющего на руку противникам социализма. Указывается, что в повести перепеваются зады империалистической пропаганды о "жестокостях" социалистической революции, "ужасах ЧК" и "подвалах Лубянки". Подчёркивается, что, несмотря на оговорку редакции журнала относительно троцкистов, в целом указанное произведение воспринимается как искажение исторической правды о Великой Октябрьской социалистической революции и деятельности ВЧК.

Комитет госбезопасности, оценивая эту повесть В. Катаева как политически вредное произведение, считает необходимым отметить следующее.

Положенный в основу сюжета повести эпизод с освобождением председателем Одесской Губчека героя повести Димы, оказавшегося причастным к одному из антисоветских заговоров, и расстрелом за это самого председателя Губчека не соответствует действительности...

В описываемый период, а он обозначен исторически вполне определённо — осень 1920 года, — председателем Одесской Губчека был М. А. Дейч. Он участвовал в революционном движении с 15 лет. В 1905 году за революционную деятельность был приговорён к смертной казни, заменённой затем пожизненной каторгой. С каторги бежал в Америку, где был арестован за выступления против империалистической войны. После освобождения из заключения весной 1917 года возвратился в Россию. После Октябрьской революции работал в ВЧК. Возглавляя с лета 1920 г<ода> Одесскую Губчека, успешно боролся с белогвардейско-петлюровским подпольем и бандитизмом, за что в 1922 г<ода> был награждён орденом Красного Знамени. Впоследствии работал на различных участках хозяйственного строительства, был делегатом XVI съезда партии, на XVII съезде партии избран в состав комиссии Советского контроля. В 1937 г<ода> подвергся необоснованным репрессиям и впоследствии был реабилитирован...

Написанная с субъективистской, односторонней позиции, повесть в неверном свете представляет роль ВЧК как инструмента партии в борьбе против контрреволюции”.

Суслову, по видимости, и благословившему публикацию “Вертера”, пришлось наложить резолюцию:

“1. Ознакомить т<оварищей> Шауро и Зимянина.

2. Тов<арищ> Шауро.

Прошу переговорить”.

17 сентября Василий Шауро, завотделом культуры ЦК, записал: “Товарищу М. А. Суслову доложено о принятых мерах”.

Главной мерой стал строжайший запрет на упоминание повести в печати: ни единого отклика, словно ничего не было. Издательство “Художественная литература” не включило повесть в десятитомное полное собрание сочинений Катаева, выходящее в 1983—1986 годы...

Публично все молчали, но гудели между собой. Разве что писатель Григорий Бакланов с трибуны пленума творческой интеллигенции Москвы вопрошал, как мог автор “Вертера” намекать, что случайно не отправился в другие миры, то есть за границу...

Вспоминавший об этом высказывании поэт Сергей Мнацаканян добавлял: “С поразительным эффектом повесть пришлось столкнуться и мне. Я тогда работал редактором газеты “Московский литератор”. Однажды, когда в газете печатался отчёт с собрания прозаиков Москвы, меня вызвали к цензору. Оказывается, существовало постановление о том, что в прессе не допускается упоминание повести “Уже написан Вертер”. А в отчёте несколько раз выступающие, причём положительно, обращались к этому произведению. Мне как редактору предложили это упоминание снять”.

Станислав Куняев вспоминает, как заказал в родной калужской областной библиотеке тот самый номер “Нового мира” и, “открыв его, ахнул”: “Страницы 122—158 журнала были аккуратно вырваны, что называется, под корешок”.

“Когда повесть была написана, — вспоминает киевский филолог Вадим Скуратовский, — мне, тогда беспросветному литературному аутсайдеру, позвонили из “Литературной газеты” и осторожно спросили, как я к ней отношусь. Я ответил несколько гиперболически: пожалуй, это лучшее из всего, что я когда-либо читал на всех известных мне языках, всех известных мне литератур всех их периодов... Мне тотчас же заказали рецензию. Но не успел я её дописать, как в редакцию ворвалась стоустая литературная молва самой высокой либеральной пробы: повесть-де антисемитская, сомнительный автор и сомнительная направленность”. Рецензию запретили.

Катаев взбесил не только легальных прогрессистов, но и нелегальных. В архивах общества “Мемориал” за 1981 год хранится статья “Катаев и революция” самиздатского публициста Марка Болховского*. “Вы думаете,

* Как уже указывалось, это псевдоним диссидента, правозащитника Михаила Молоствова (1934—2003), о котором чуть подробнее: с 1958-го по 1965-й сидел в лагерях, осенью 1993-го, будучи членом фракции “Радикальные демократы” в Верховном Совете, поддержал разгон Парламента, затем стал членом гайдаровской фракции “Выбор России” в Госдуме; в 95-м вместе с заложниками сопровождал Шамиля Басаева от Будённовска до Чечни.

автор “Нового Вертера” — антисемит? Боже упаси! — насмешничал рецензент. — Он просто противник международного сионизма, равно как и других иноземных влияний... Слова матери Вертера: “Будьте вы все прокляты!” — должны быть адресованы слонявым Робеспьерам, местечковым Сен-Жюстам, которым предстоит ещё целовать начищенные сапоги... Эти самые сапоги оказываются чем-то вроде справедливого возмездия. Так называемый культ личности Сталина тем самым оправдывается. Он лишь расплата за романтику мировой революции, с которой они носились Троцкие, Радеки, Блюмкины и местечковые чекисты...” Болховской делился “чувством брезгливости, с которым закрываешь эту книжку некогда честного журнала”.

Какое трогательное, пусть и невольное единодушие с председателем КГБ СССР!

После выхода июньского “Нового мира” Катаев объявил, что устраивает банкет в ЦДЛ на открытой веранде, и позвал туда всю редколлегию журнала.

“Он приглашал всех, в том числе и тех, кто был против, — рассказывает Рекемчук. — Но мы, те, кто были против, решили не идти. Чтоб не лицемерить. Нет — и баста. И надо же такому случиться: я был как раз в тот день в клубе писателей — куда-то ехал, собирался где-то выступать, — и вдруг на затейливом крыльце олеуфьевского особняка, уже на выходе, столкнулся с Катаевым.

Он обрадовано, отечески возложил мне на плечо свою смуглую стариковскую кисть:

— Значит, вы всё-таки пришли?

— Нет, я не пришёл, — заметался я. — Мне просто нужно ехать в одно место... я здесь совершенно случайно.

— Но — может быть?.. — он заглянул мне в глаза.

— Нет-нет, извините, Валентин Петрович.

— Послушайте, — сказал он, — там будет хорошая выпивка, приличная еда!

Он знал мои слабости.

— Нет-нет, — сказал я. — Большое спасибо. Но не могу... До свиданья!

И сбежал.

Конечно же, он обиделся”.

Когда в январе 1982-го Кирпотин спросил Катаева по поводу новой прозы: “Опять какого-нибудь жида к ногтю прижимаешь?” — собеседник “чуть-чуть растерялся, потом ответил: “Нет, второй раз может не сойти”.

Тогда же писатель Василий Субботин наблюдал выступление Катаева в конференц-зале Литинститута — похоже было, что “саму эту встречу устроили, чтобы высказать всю ту ерунду, которой уже достаточно он наслушался”. По Субботину, после первого же вопроса “в агрессивной форме” от одного из молодых людей, “Катаев без улыбки, но сдержанно резковато смахнул его, словно муху со стола. Остальные, как видно, поостереглись, не полезли”.

Надо сказать, все упреки в антисемитизме автор повести отвергал решительно.

Он ничего не преувеличил, не покривил против правды, честно показал кабинеты и застенки, сквозь которые прошёл, и тех, кого видел... “Надо иметь в виду, что аппарат ЧК в тексте просто одно в одно списан с реальности 1920 года”, — сообщает историк Немировский, и иронизирует, что обидеться на повесть могли бы и русские. Диму арестовывает явный славянин “в сатиновой рубаше с расстёгнутым воротом, в круглой кубанке”. Чекистка Лазарева — русачка, “питерская горничная из богатого дома, пошедшая в революцию”. Да и распорядитель расстрелом, как будто нарочно, дабы избежать обвинений в предвзятости, — “светлоглазый с русым зубом”.

“Чем же провинился злодей (тут ему уже всё прошлое готовы были припомнить) Катаев? — писал Александр Нилин. — Он даже и не особенно подчёркивал — впрочем, и подчёркивал, конечно, описанием специфической внешности персонажей, — что в одесской ЧК служили люди определённой национальности. И вот на Катаева с его чекистами (в дальнейшем тоже расстрелянными) ополчились умные и тысячу раз более прогрессивные люди...”

Но ведь Катаев не из головы выдумал и героев, и ситуацию... Я догадываюсь, что многим свободомыслящим и достойным людям претит сама мысль, что конформист Катаев в своей прозе оказывается более протестным автором, — талант всегда смелее”.

Писатель Юрий Карабчиевский вспоминал, что его чуть не выгнали из интеллигентного московского дома, когда он похвалил повесть, которая ему “очень понравилась”: “Об авторе все говорили в один голос, что он человек отвратительный. Не знаю, я с ним не был знаком, но хочется думать, что в нём... был свой страдающий и болящий центр... иначе как бы он смог ощутить и так талантливо выразить чужие страдания”.

И всё же... Рельефное, натуралистичное, едва ли не карикатурное изображение чернокожаных комиссаров можно было бы списать на художественную манеру Катаева, но сложно отделаться от впечатления, что внешность, речь и деяния персонажей слиты воедино (как, допустим, в “Сыне полка” у фашистов), и повесть — вербальное отражение запомнившегося ему белогвардейского плаката с “чудовищным, ярко-красным Троцким, сидящим верхом на поломанных крестах Кремля” или другого, тоже созданного деникинским ОСВАГОм, под названием “В жертву Интернационалу”, на котором главные большевики (Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Радек, Раковский) собираются заколоть связанную женщину в кокошнике — Россию. С белогвардейского плаката и жёлтый часовой: женщина “умоляет впустить её в комендатуру, но китаец стоит неподвижно, как раскрашенная статуэтка: фаянсовое лицо, чёрные брови, узкие змеиные глаза, рот без улыбки. Она унижается. Она плачет. Он неподвижен”.

Деникинский плакат. А если коннуть чуть глубже — “Одесский листок”, “Русская речь”...

Дело не только в свободе от тисков “политкорректности”, когда нет запретных образов, и художник вправе рисовать, как ему вздумается, хоть колченогого, хоть горбатого, равно как бело-, красно-, жёлто- и чернокожих.

Есть и другая сторона всей красочной жути “Вертера” — мистерия, сближающая эту прозу с “Мастером и Маргаритой” Булгакова: выпуклое и страстное воссоздание мира Священного Писания. В катаевской “иуданке” присутствуют и убивающие, и убиваемые, и избавители, и даже пророки — в повесть влетают стихи Мандельштама и Пастернака (вещь озаглавлена его строкой и им завершается)...

“Перед мальчиком полукругом раскинулась, как настоящая, чёрствая иудейская земля... неподвижный, бездыханный мир, написанный на полотне, населённый неподвижными, но, тем не менее, как бы живыми, трёхмерными фигурами евангельских и библейских персонажей... и надо всем этим царила гора Голгофа...”

Подосланная предложила себя Диме на Первое мая (“Митя, хочешь быть моим первомайским кавалером?”): в это праздничное утро на лавочных весах некто Кейлис, “лысый пожилой еврей в старорежимном лостриновом пиджаке педантично взвешивал первомайские пайки ржаного хлеба, нарезая его острым ножом, каждый раз опуская нож в ведро с водой, чтобы липкий хлеб лучше резался”. Всё не случайно, символично, торжественно, и вот уже первый вечер с обольстительницей Лазаревой оборачивается Тайной Вечерей с Иудой — он и она распили “лилово-красное вино в его комнатке. Они пили его из одной кружки. Они заели его ржаным хлебом с кисловатой каштановой коркой... Это был их свадебный ужин, их первая брачная ночь”.

Лазарева, конечно, тоже говорящая фамилия — воскрешение Лазаря четверодневного: “он расстрелян и вместе с тем он стоит в столовой и разговаривает со своей женой”...

Что до вульгарных обвинений и подозрений, можно привести воспоминание писателя Анатолия Алексина: “Все юдофобы — ничтожества”, — сказал мне Катаев. Я привёл в опровержение несколько отнюдь не ничтожных имен. “А сие исключение, как обычно, лишь подтверждающее правило!” — не сдался Валентин Петрович”. И одновременно — преклонение перед Розановым, которого с его же подачи, как и Катаева, записывали и в “филы”, и в “фобы”. В любом случае, Катаев — автор двух произведений о родном

городе “Уже написан Вертер” и “Отче наш”, зачастую воспринимаемых разновекторно (характерно, что и то, и другое иногда называют вершинами его прозы).

Станислав Куняев вспоминал звонок от старшего коллеги по секретариату Московской писательской организации в 1980-м году. “Валентин Петрович позвонил из Переделкино и, не найдя Феликса Кузнецова, с раздражением сорвал свою досаду на мне:

— Я не приеду на ваш секретариат и вообще моей ноги в Московской писательской организации не будет. Кого вы там принимаете в Союз писателей? Ивана Шевцова? Ваш секретариат войдёт в историю, как исключивший из своих рядов Василия Аксёнова и принявший Ивана Шевцова. Так и передайте мои слова вашему шефу!

Заметим, Аксёнов покинул Союз сам, а Ивана Шевцова, автора небеспричинно считавшегося антисемитским памфлета “Тля”, приняли только после того, как у него было издано семь романов. “Валентин Катаев ставил ультиматум: мол, если примут Шевцова, из Союза выйду я”, — в 2007-м рассказывал сам 87-летний Шевцов журналисту Олегу Кашину.

“Я не удивился, — сообщает Куняев, — поскольку знал окружение Валюна, национальный состав сотрудников редакции “Юности” в его редакторскую бытность. Как было ему иначе откликнуться на приём в Союз писателей Ивана Шевцова? Только так... Но каково было моё изумление, когда буквально через несколько месяцев в июньском номере “Нового мира” я прочитал трагическую катаевскую повесть “Уже написан Вертер”.

В своих мемуарах Куняев приводит свживое анонимное письмо, пришедшее в Московскую писательскую организацию летом 1980 года, из которого приведём несколько фраз: “Дела Курчавого Маркса бессмертны и сейчас, преклоняясь перед ним, миллионы людей совсем не интересуется, шепелявил он или картавил. И когда он писал свой великий лозунг “Пролетарии всех стран, соединяйтесь”, то он не думал, что его заменят на “Бей жидов, спасай Россию”, а по-вашему, по-интеллигентному, как написано в вашем бреде сивой кобылы, “Будьте вы все прокляты”. Троцкизм хоть и безусловно ошибочное течение, но в таком тоне о нём писать просто глупо и изображать евреев, как гитлеровцев, — это значит быть самому... И хоть у вас вполне арийское лицо, через 50–100 лет вы канете в вечность, а они, губастые, носастые, останутся в веках, пока будет существовать этот мир... Я всё думала, почему единственный отрицательный тип в повести — русская женщина (остальные все евреи), а потом поняла: как же аристократ может унизиться до того, чтобы лечь с жидовкой...”

В этой анонимке — боль, как от ожога. Крик оскорблённой женщины, превратно истолковавшей прочитанное. Но письмо показательное... Слишком многие в этот раз не поняли Катаева...

В июле 1980-го года литератор Семён Резник посетил на переделкинской даче Анатолия Рыбакова. “В качестве примера того, как быстро в литературе набирает мощь антисемитская струя, я назвал только что появившуюся повесть Валентина Катаева “Уже написан Вертер...” Назвал, и тотчас пожалел о своей опрометчивости: ведь у Рыбакова с Катаевым должны были быть давние отношения, а какие именно, я не имел понятия. Куда может повернуть разговор, если их связывает многолетняя дружба и он посчитает нужным “заступиться” за товарища! Но Рыбаков очень резко отозвался о Катаеве, сказав, что, хотя они соседи по даче и нередко встречаются, но он давно уже не подает *этому подонку* руки”.

В ноябре того же года Резник в письме в “Литгазету” призывал к бдительности в связи с “разгулом литературного хулиганства на почве национализма и шовинизма”. К погромщикам примкнул и Катаев, “что наиболее ярко выразилось” в его повести: “Эта повесть о революции, причём под соусом сновидений и галлюцинаций, революция представлена, как ужас и изуверство, творимые евреями, то есть в полном соответствии с тем, как рисовали её самые крайние черносотенные идеологи вроде Дубровина, Пуришкевича, Маркова Второго”. К письму Резник приложил рассказ-пародию “Коленный сустав”: “Маузер стрелял в посла с местечковым акцентом. Ради Льва Давидовича Наум готов был не только залить кровью всю необъятную Землю

и весь бесшумный хоровод светил, но даже доставить секретное письмо*. Наум картаво пакостил везде, где только мог. И где не мог... Дима стоял на коленях возле тахты, а доктор со срезанными погонами гладил его по колючим волосам и умолял бежать от гиблых мест, где все говорят с местечковым акцентом... В то грозное время, эру, эпоху я был увлечён романтикой революции и страшно боялся попасть в выложенный закопченным кирпичом подвал Губчека... Как мятежный парус на лазури тёплого моря и холодного неба, Муза моего Я наполнилась ласковым ветерком безупречно славянско-арийских образов Гаврика и Родиона Жукова, Вани Солнцева и капитана Енакиева...

В ответ Резнику позвонил зам главного редактора Евгений Кривицкий. — Да, вы правы, но есть мнение, что эту повесть лучше вообще не критиковать. Чтобы не привлекать к ней внимания.

— Чьё это мнение? — спросил я.

— Ну, понимаете, есть такое мнение...

Вскоре Резник эмигрировал в США и устроился на “Голос Америки”. В 1986-м в нью-йоркской газете “Новое русское слово” он не без ехидства делился слухом: “У Катаева были в связи с выходом “Вертера” неприятности: в закрытом ателье Литфонда ему отказались вне очереди шить пыжиковую шапку”.

После появления повести доктор философских наук Соломон Крапивенский направил письма в “Литгазету” и “Новый мир”: “Меня как читателя и воспитателя молодёжи крайне тревожит то молчание, которое складывается вокруг повести В. Катаева... Подчеркну только, что, на мой взгляд, такого контрреволюционного и антисемитского по своему замыслу произведения, маскируемого в то же время под борьбу с врагами революции, наши журналы ещё никогда не печатали”.

Но вынужденная немота сковала, повторимся, и тех, кто повесть принял и желал похвалить.

“Когда он прочитал “Вертера” маме, она возмутилась шепелявыми еврейками: надо убрать”, — рассказала мне дочь Катаева Евгения, чей тогдашний муж Арон Вергелис, между прочим, писал на идише.

А дети не поняли, что тут такого: “Папа, оставь”. Эстер даже перестала с ним разговаривать. Но он всё равно не вычеркнул: “Эста, ну при чём здесь евреи? Я просто пишу, как было”.

По утверждению Бориса Панкина, сидевшего в застолье с Катаевыми, дети тоже не приняли повесть и “нападали на папочку”.

— Нет, невозможно быть писателем! — вырывается у Катаева вдруг. — Они все от тебя чего-то хотят. Но ведь это же правда, правда... И ещё: как я могу быть антисемитом, если у меня жена еврейка, и, стало быть, мои дети наполовину евреи. Вот, полюбуйтесь-ка на них”.

“Мы только кому-то снимся”

“В каждом человеке с детства живет война”, — сказал Катаев Панкину и вспомнил о недавней встрече на прогулке “с пятилетним существом, которое грозно размахивало игрушечным пистолетом и расстреливало всех и вся вокруг”.

15 января 1982 года Владимир Карпов записал в дневнике: “Позвонил Катаев, ему нездоровится, попросил приехать на обед к нему в Переделкино.

— Приезжайте обязательно, кроме хорошего обеда, отдам свой новый “Юношеский роман”.

Эстер Давыдовна, действительно, приготовила “парадный” обед — телятина, запечённая в духовке. На улице снег, а на столе — салат из свежих огурцов и помидоров... По тем временам — роскошь.

Вручая мне свою рукопись после обеда, Валентин Петрович сказал:

— Я давно хотел написать роман о войне, ещё после Первой мировой собирался. Но меня опередили Ремарк, Ромен Роллан, Олдингтон и другие.

* У Катаева: “Его взяли с поличным на границе, с письмом, которое он вёз от изгнанного Троцкого к Радеку”.

Я их читал, не хотел повторяться, отложил эту тему. И вот недавно я обнаружил свои письма той поры, вернулись юношеские воспоминания. Очень необычные юношеские мысли — я хотел войны! Там героизм, увлекательные события! Так начиналось, к чему я пришёл — читайте сами...

“Юношеский роман” вышел в том же году в 10—11 номерах “Нового мира”. Письма “генеральской дочке” Миньоне (Ирен Алексинской) от “вольноопределяющегося” Валентина Катаева (Александра Пчёлкина) из “действующей армии”. Достаточно заглянуть в архивы — почти все эти сюжеты и наблюдения присутствовали в его фронтовых корреспонденциях, но теперь (рука мастера!) всё обрело новое измерение, оказалось тонко прорисовано, расцветено, психологически углублено, усложнено деталями, а сквозным сюжетом военного романа в письмах “дорогой Миньоне” стала тоска по другой, по-настоящему дорогой сердцу — Ганзе Траян (Зое Корбул) — невысокой и кареглазой, с “незначительным и незапоминающимся” облачком лица: “Если я и был влюблён в Миньону, то поверхностно, как бы буднично, а в глубине, в самой-самой глубине души безнадежно и горько любил Ганзю... Одна яркая, прелестная, как бы внезапно появившаяся из куста сирени, а другая — неопишимо никакая, неяркая, незаметная, как та звезда, которую всегда так трудно найти в небе, полном знакомых созвездий”.

Как и предыдущая воинская книга мовистского периода “Кладбище в Скулянах”, “Юношеский роман” — это прозрачно-освежающая реалистическая вещь.

В начале 20-х уже москвич Саша Пчёлкин в Одессе забрал свои фронтовые письма у умирающей генеральской дочки Миньоны...

Катаев вновь окунулся в то время, когда “превращение исключённого гимназиста в добровольца-патриота совершилось быстро”, и вслед за целованием креста и Евангелия его отправили “на позиции” — под обстрелы и ядовитые газы. “Творчески перерабатывая” — сокращая, расширяя, компилируя — послания Алексинской, он пытался передать, как менялся на войне, пока внутренне метался от животного ужаса к жестокому азарту, от мечтательного романтизма к беспросветному унынию и обратно... “Мои снаряды угодили в скопление немцев, которые тут же разбежались, оставив на месте несколько убитых... Чувствую себя прекрасно. Даже не очень одиноко. Огрубел. Ругаюсь нецензурно и курю махорку. Зато поздоровел. Колю дрова. Хожу по воде. Да! Во время ночной тревоги впопыхах надел правый сапог на левую ногу, а левый на правую. Так и провёл возле орудия весь бой”.

Война дьявольски глубоко вписывается в память деталями. Над орудием сооружена “арка из хвойных веток и над ней буквы, сплетённые тоже из хвои: Б. Ц. X. (Боже царя храни)”; изнурительная чистка орудий — “самое ужасное следствие войны”; солдаты в песке отливают ложки из раскалённого алюминия; а это кровавый солдатик трясёт оторванными кистями (“у него в руках взорвалась дистанционная трубка, которую он свинтил с неразорвавшегося немецкого снаряда”); “белобрый шпион, копающий собственную могилу под наблюдением двух стрелков”; битва батарейцев со вшами, выловленными в складах гимнастёрки (“Мне и сейчас, уже старику, неприятно вспоминать”); и “вереница телег с почерневшими трупами отравленных газами”... Бросок из белорусских лесов на равнины Румынии, где под обстрелом уже собирался выбежать из окопчика, но отправил вместо себя семнадцатилетнего новобранца, который тотчас был убит, а затем “кто-то из оружейной прислуги” выкопал из земли “сгусток запёкшейся крови и вынес его на лопате, как бы нечто вроде крупной тёмно-красной печени”. И там же — венгерский кавалерист, в которого направил снаряд, увидев в стереотрубу и заорав телефонисту команду бить по цели...

“Я перекрестился, как бы желая изгнать из себя дьявола”. А рядом со всем этим адом, в котором выживший неизбежно ощущает себя чёртом, восторг по поводу “национальной гордости” — громадного самолёта (“До сих пор нигде, кроме России, нет такого”): “Вы, наверное, видели в “Ниве” или каком-нибудь другом журнале фотографию государя императора в походной форме на борту “Ильи Муромца”: держась одной рукой за поручень, он стоит на фюзеляже и своими лучистыми глазами смотрит с улыбкой прямо

в объектив фотографического аппарата — вот, дескать, какой у нас богатырский боевой аэроплан”.

Ближе к финалу оглушённый и чудом выживший герой скитается одиннадцать дней, догоняя бригаду с напарником “телефонистом по фамилии Кац”. Образ сложен. Это художник из Витебска, друг Шагала. С одной стороны, Пчёлкин сочувствует ему из-за приниженного положения на батарее. “Я был единственным человеком, с которым Кац мог позволить себе обращаться как интеллигент с интеллигентом, называя меня “коллега”...” Но сразу и подпускает юморок: “Хотя и без особого удовольствия, но я принял это обращение и сам называл его коллегой. Коллега Кац”. И, наконец, художественный произвол, привет от упряма всем возмущавшимся портретной галереей “Вертера”, отстаивание права видеть и изображать, как вздумается: “Небритый подбородок, впалые щёки, поросшие волосами цвета медной проволоки, косящий глаз с бельмом, иронически искривленные губы... Всё это производило на меня неприятное, чтобы не сказать отталкивающее, впечатление, но приходилось мириться”.

И все эти наблюдения и письма к “сиреновой барышне” сопровождают “мучительные приливы неразделённой любви” к кареглазой Дюймовочке (в 1982-м жительнице Лос-Анджелеса Зое Ивановне Корбул исполнилось восемьдесят четыре), “чёрные мысли” из-за утраты веры, пропажи всякого смысла и исчезающей прежней Родины, и предчувствия новых ужасных бедствий...

“Я вытираю высохшей старческой кистью руки, покрытой гречкой, мокрые щёки, вспоминая свою погибшую молодость”.

21 августа 1984-го года Катаев написал рассказ “Спящий”, появившийся в первом номере “Нового Мира” за 85-й год.

Короткий и необычайно выразительный, изумительно сделанный. Пожалуй, новый рубеж мастерства...

Человеку восемьдесят семь, а он может так писать, и больше того — находится в развитии!

Катаев, однажды назвавший себя “влюблённым в весь мир”, до последнего ходил-бродил каждый день в любую погоду, и так же неотступно тренировал нюх и зрение.

“Случилось так, что в связи с каким-то литературным мероприятием мы с ним и Эстер Давыдовной поехали в Бурятию, — вспоминал Семён Липкин. — Вдвоем гуляли по тайге. Он наклонился и сорвал цветок. Спросил с подначкой:

— Вот вы перевели бурятский эпос. А знаете, как называется этот цветок?

— Да. Ая-ганга.

— Имеет какое-то отношение к знаменитой реке?

— Не знаю.

Он глубоко, как собака-ищейка, внюхивался:

— Пахнет лавандой”.

Александр Нилин, живший с Павлом Катаевым в одном кооперативном доме, однажды был у него в гостях, когда туда нагрянул Валентин Петрович, впечатливший его тем, с каким любопытством он изучал подробности “обстановки квартиры Павлика, куда пришёл он впервые (я потом проверил у Павлика, что впервые): его интересовали и обои, и шпингалеты на окнах, и вообще всё, на что я, скорее всего, внимания не обратил”.

Вот и рассказ “Спящий” весь сконструирован из точных наблюдений.

Если вычленивать фабулу, то это история времён австрийской оккупации Одессы 1918 года.

“Белеет парус одинокий”, но не революционеров и бедняков, а тех героев, которые были Катаеву, похоже, интереснее...

Прогулка в открытом море на выписанной из Англии, из Гринвича яхте “с косо летящим надутым парусом” в компании молодёжи — владельцем яхты Васей, сыном бывшего миллионера, его невестой Нелли, дочь бывшего прокурора, и её младшей сестрой Машей, в которую влюблён присутствующий здесь же рассказчик-спящий. Нелли осторожно и успешно обольщает и некто Манфред, тоже из богатей, “наследник громадного имения в Смо-

ленской губернии”. Прошлая жизнь не вернётся, но он манит её улизнуть с ним в Италию и обещает достать много денег. И вот Манфред с подельником, нелепым Лёнкой Греком, и ещё каким-то солдатом-дезертиром пытаются ограбить хозяина ювелирного магазина. Их окружает ревушая толпа и расстреливают чины державной варты. Что ж, когда Манфред и Лёнка не явились на очередную морскую прогулку, никто не удивился, только Нелли неприятно удивлена, что обольститель пропал — оказался болтуном и позёром...

Но в фабуле разве дело? Сон побеждает всё, смешивая и любовь, и смерть.

“Пароходы увозили кого-то подобру-поздорову из обречённого города”, а кто-то оставался.

— Что же всё-таки, в конце концов, с нами будет? — сказала она, не размыкая век, опущённых светлыми ресницами, за которыми угадывалась млечная телячья голубизна.

— А ничего не будет, — с бесшабашной улыбкой сказал я”.

И далее:

— Мы только кому-то снимся, — сказал я.

— Да, мы только снимся, — сказала она.

— На самом деле нас нет, — сказал я.

— На самом деле... — сказала она”.

Несомненен экзистенциальный мотив обращения яви в мираж. Мёд забывая склеивает веки и солнечно подслащивает любое горе. Литература — как целебный, смягчающий горе сон *золотой*. Невозможно принять кошмар войн и смут, накрывший страну, и вселенскую катастрофу, на которую обречён каждый рождённый, если не посчитать всё это сном.

“Сон” — так и назывался рассказ Катаева об измученном отступающем конном корпусе Будённого, напечатанный в “Правде” 24 февраля 1935 года. “Степь. Ночь. Луна. Спящий лагерь. Будённый на своём Казбеке. И за ним, в приступе неодолимого сна, трясётся чубатый смуглый мальчишка с пучком вялого мака за ухом и с бабочкой, заснувшей на пыльном горячем плече”. Сон во сне.

Чуковский вспоминал, как однажды уселся на мотоцикл своего внука, и тот погнал с бешеной скоростью... Когда они поравнялись с катаевской дачей и хозяином, стоявшим в калитке, Корней Иванович на полном ходу бросил шутку:

— Прогулка перед сном!

Катаев парировал мгновенно:

— Перед последним сном!

“Икона ликом вниз”

Павел Катаев подтверждает, что отец каждое своё произведение переписывал трижды. Так было и с “Сухим лиманом”.

В окончательном варианте “между абзацами появлялись просветы, и рукопись от этого становилась словно бы прозрачной... На мой вопрос, что он сейчас делает, отец озорно улыбался, прикладывая ко рту две сложенные ладони и с шумом выдувал воздух, словно бы наполняя невидимый воздушный шарик... Мальчишка, да и только!”

“Сухой лиман” вышел 1 января 1986-го в “Новом мире”.

Последняя проза. Предсмертная.

Отмечая “точность и естественность” произведения, литературовед Мария Литовская предполагала: “Сухой Лиман”, несмотря на своё поневоле завершающее место в творчестве писателя, был, возможно, началом следующего, “золотого” этапа его творчества”.

В 60-е годы “бывший мальчик Саша”, пожилой членкор Академии наук (в котором угадывается автор), приехал в город детства Одессу и отправился в военный госпиталь навестить больного двоюродного брата, военного врача в отставке.

За братом — “бывшим мальчиком Мишей” — проступает двоюродный брат Валентина Петровича Александр Николаевич Катаев.

В “Сухом лимане” у героев церковная фамилия Синайские, как и когда-то в “Отце”. “Отпрыски некогда большой семьи вятского соборного протоиерея”, мальчишками, балуясь, выкрикивали смешное слово: “Катавасия”, между прочим, созвучное фамилии Катаев: “Они тогда ещё не знали, что “катавасия” — слово церковное. Катавасией называлось песнопение, исполняемое обоими клиросами, выходящими на середину церкви”.

Приехавший из Москвы говорит: “Мы с тобой с раннего детства, так сказать, с младых ногтей, сами того не ведая, пропитались запахом церковного ладана... Не исключено, что род наш Синайских уходит в невероятную даль раннего русского христианства”.

В разное время критики отмечали у Катаева “старинные” слова и обороты и одновременную выпренность стиля, что можно объяснить влиянием “церковного языка”. Кажется, его навсегда пропитала таинственная красота того, что в 1918 году он изображал так:

*Дым кадилный, как волокна...
И от близости святых
На душе тепло, а в окна
Нежно смотрит вечер синий.*

Ходячий больной ненадолго покидает госпиталь, и они вдвоём бредут по любимой Одессе, вспоминая детство и судьбы родных...

Правда и беллетристика перемешаны, как соль и сахар. И всё же прототипы прозрачны, а изыскания подтверждают: написано предельно близко к достоверности.

Больше того, в некоторых местах Катаев называет всех своими именами: бывшая гувернантка из Вёве, ставшая Зинаидой Эммануиловной, её дочь Надя, её муж — петербургский военный врач Виноградов, их дочь Алла...

Да, Надя, “попав в чёрный список”, сгинула не в лагерях, а просто была расстреляна, а Аллочка не выходила за остзейского барона. И нет подтверждений, что её сестра Зина (в повести Лиза) до революции вышла за грека, которого через несколько лет погубила “неизвестная форма тропического гнилостного заболевания ещё библейских времён”... А быть может, грек присочинён, чтобы возник пятилетний Жорочка (то есть Женья Катаев), который по обычаю нёс икону перед невестой и положил её в церкви на аналое ликом вниз — ужасная примета.

Московский гость говорит:

— Но ведь потом погиб и наш Жора, тот самый мальчик, который положил икону ликом вниз... Значит, смерть ходила за ним тридцать пять лет...

— Ты веришь в приметы?

— Приходится”.

В ответ военврач называет его “идеалистом, может быть, даже мистиком” и добавляет: “Неужели ты до сих пор не уяснил себе, что за всеми нами гоняется смерть?”

Сплошные смерти, и только двое уцелевших.

“У каждого из них имелась своя семья... Были свои семейные сложности, запутанные отношения, но всё это как бы не шло в счёт. Они чувствовали себя одинокими и признавали настоящей своей родней только друг друга, так сказать, последними из рода Синайских”.

Павел Катаев подтверждает: “Папа и его двоюродный брат, “дядя Саша” очень тепло относились друг к другу, отец навещал его в Одессе...”

В 1976 году в Переделкино вместе с женой приехал Сергей Катаев, внук Василия Николаевича, погибшего в Одессе в 20-м, начинающий писатель, чтобы показать свою прозу Валентину Петровичу, и прямо там у его жены начались роды — словно бы символ того, что их роду нет переводу...

Можно сказать, это христианская по духу повесть. Катаев возвращается к герою “Отца”, своему отцу, показывая его подражателем Христовым. Во время разрухи он сделался простым банщиком: “Когда ему приходилось мыть грязные ноги больных солдат и стричь отросшие ногти на этих ногах, то ему представлялся некий церковный обряд омовения ног, когда архиерей

посреди церкви на глазах у всех мыл ноги своему притчу”. И рядом целиком воспроизводится великопостное стихотворение Пушкина “Отцы пустыньники и жены непорочны...”

Военврач держит подмышкой томик и цитирует из него знаменитое, написанное незадолго до смерти письмо 1836 года (“Пушкин полемизирует с Чаадаевым, который, как тебе, может быть, известно, был привержен к католицизму, к западничеству”): “...Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т. п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно?”

Конечно, самый поздний Катаев не случайно обратился к этому позднему пушкинскому тексту с хрестоматийными словами: “Пробуждение России, развитие её могущества, её движение к единству (к русскому единству, разумеется)... Клянущая честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал”.

Пальмовые ветки заменялись в Одессе традиционными вербами, которые привозили из Палестины и продавали на Афонском подворье. “Их обычно закладывали за иконы, и они стояли там целый год рядом с бутылочкой со святой водой”. Изначально “Сухой лиман” назывался “Ветка Палестины” (как и “Белеет парус одинокий” — вновь по-лермонтовски). Но “Новый мир” попросил изменить название. Другой вариант названия — “Икона лицом вниз”.

Откликаясь на повесть в эмигрантском журнале “Грани” из нью-йоркской больницы, 81-летняя фольклорист и литературовед Елена Тудоровская в своей предсмертной рецензии восклицала: “Даже удивительно, как опубликовали в советской печати это своеобразное произведение!” — и обозначала “крепкую связь с самым духом христианства” как “идею, важнейшую в повести”: “Страницы насыщены символикой Церкви, символикой христианства... Члены семьи называли Сухой лиман, где они жили летом, Генисаретским озером. Значит, они сами сравнивали себя с последователями Христа... Не имеет ли в виду В. Катаев и себя в качестве Ученика?”

Эта повесть была как бы благоговейным возвращением в детство и первой ласточкой религиозного ренессанса, случившегося в стране через несколько лет...

Узнав, что дочь заходит в церковь поставить свечки, он сказал: “Ты думаешь, всё так просто? Вера — это ответственность”.

Катаев часто повторял: война убила его веру.

Однако в “Обоюдном старичке”, новмировской статье 1985 года, посвящённой Толстому, на которого равнялся, указывал, любуясь: тот состоял из прямых противоречий, в том числе по вопросам веры и неверия.

В “Разбитой жизни” он вспоминал рыбную ловлю — приманивание бычка на креветку, уверенного, что ловца не существует: “Бога нет...” “Господи! — думал я тогда (или, может быть, теперь?). — Неужели чья-то громадная рука держит и меня, как маленького, ничтожного бычка, сжимаю так крепко в своём невидимом кулаке, что моё сердце трепещет, сжимается и каждый миг умирает”.